„Дружба народов" 1977. - №4

Критика

ВАДИМ КОЖИНОВ

Современная жизнь традиций

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

— Я хочу, чтобы ты запомнил следующее: ты уже не принадлежишь себе. Ты взял большие обязательства перед своим народом.

Из разговора Д. И. Гулиа с молодым поэтом Иуа Когониа. 1925 год

Сейчас есть немало критиков, которые с удивительной легкостью пишут о любой литературе — от удмуртской до киргизской, от осетинской до чукотской. Этот путь, мягко говоря, не очень плодотворен. В частности, он неизбежно ведет к нивелированию путей литературного развития у самых разных народов, развития, которое просто не может не быть глубоко самобытным.

Между тем прочно установилась нехитрая схема, согласно которой устное народное творчество (а оно, разумеется, есть у каждого народа) трансформируется после возникновения и распространения письменности в литературу. К применению такой элементарной схемы и сводится чаще всего разговор о рождении той или иной молодой литературы.

На самом же деле все обстоит гораздо сложнее. Литература и фольклор — разные стихии. Они могут развиваться в теснейшем взаимодействии, но могут иметь и более или менее независимое развитие. И уж, во всяком случае, устное народное творчество не может непосредственно «превратиться» в литературу.

Начать с того, что основные формы фольклора отражают, запечатлевают вековые или даже тысячелетние устои народной жизни, вбирают в себя прежде всего самые прочные и неизменные черты национального бытия, а литература теснейшим образом связана с данным временем, с особенным содержанием и пафосом *современности*. С другой стороны, фольклор воплощает, в сущности, только общенародную стихию, его образы непосредственно представительствуют целостность нации, между тем как литература немыслима без ярко выраженного *личностного* начала.

Оба этих чрезвычайно существенных различия касаются вовсе не только содержания; они столь же рельефно выступают и в *стиле* фольклора и литературы. Устное народное творчество развивается в русле устойчивых, вековых словесных форм, которые образуют более или менее замкнутую систему. Живая современная речь проникает в нее с трудом. Точно также в устном народном творчестве лишь в слабой степени может выступить индивидуальный художественный стиль. Между тем литература немыслима без освоения всего многообра-

зия живой современной речи и без развитого индивидуального стиля.

Словом, сам по себе фольклор не может «родить» литературу; ее рождает жизнь народа во всем ее многообразии. Исторические судьбы народа, его быт, его духовная культура и неповторимый национальный характер — все это *самостоятельно* охватывает литература, возникающая именно в процессе освоения целостности народного бытия и сознания. Громадную, неоценимую роль в ее становлении играет сам *язык* народа, так или иначе вбирающий в себя все его материальное и духовное бытие.

При поверхностном взгляде может показаться, что многие молодые литературы нашей страны возникли как бы на пустом месте. Им предшествовало только более или менее развитое устное народное творчество.

С моей точки зрения, все обстоит иначе. Каждая литература, как мне представляется, исходит из вековых и тысячелетних культурных традиций, которые не находили *очевидного* для всех воплощения, но тем не менее жили и развивались в самом бытии людей, в их нравственном и эстетическом сознании, в живой речи.

Стремясь показать это, я не собираюсь говорить о молодых литературах «вообще». Я обращусь к опыту одной из них — абхазской литературы.

Мое обращение именно к абхазской литературе обусловлено тем, что она, как мне представляется, вступила сейчас в период высокого расцвета, который уже дал плоды и еще больше обещает в ближайшем будущем. Я вовсе не хочу тем самым как-то принизить предшествующие стадии развития абхазской литературы. Многогранное творчество Дмитрия Гулиа (1874—1960), эпические поэмы Иуа Когониа (1903—1928, печатался с 1920), ранняя лирика Баграта Шинкубы (родился в 1917, печатается с 1935) — это ценнейшие выражения национальной культуры, уже ставшие классикой.

Подчеркнем еще раз: широкий и всесторонний расцвет абхазской культуры в целом начался в послеоктябрьское время и особенно в последние 10—15 лет. Уместно привести один очень выразительный, даже замечательный факт. Во время переписи населения в 1939 году абхазский язык назвали родным всего 88,7 процента абхазов. Между тем в 1970 году родным языком назвали абхазский 95,9 процента абхазов! Иначе говоря, абхазский язык теперь не считают родным лишь около 3,5 тысячи (из 83 тысяч) абхазов, то есть, по-видимому, только те, кто живет не в Абхазии и даже за пределами Грузинской ССР (таковых имеется 4 тысячи человек). В самой же Абхазии ныне все абхазы считают свой язык родным. Я убежден, что это «возрождение» языка во многом обусловлено именно расцветом национальной культуры, которая властно возвращает людей в свое лоно. И этот факт — решительный ответ тем, кто предрекает отмирание языков «малых» народов.

Знакомясь с книгами и с самими деятелями абхазской литературы, сразу чувствуешь, как бурно и широко развиваются сейчас абхазская поэзия, проза и филология — филология не в ее отвлеченной, «академической» форме, но активная, живая, неразрывно связанная с литературной практикой и самой жизнью народа. В сегодняшней Абхазии филологи похожи на поэтов, а сами поэты глубоко увлечены филологией. Более того, многие литературные деятели Абхазии органически сочетают в себе поэтов и филологов.

Собственно говоря, мое знакомство с абхазской литературой началось лет пятнадцать назад именно с филологии, с работ таких молодых деятелей абхазской литературы, как Владимир Агрба, Артур Аншба, Борис Гургулиа, Владимир Цвинариа.

Не так давно вышли в свет их первые книги. В. Агрба написал о соотношении абхазской поэзии и фольклора, А. Аншба — о поэтике нартского эпоса, В. Цвинариа — о творчестве крупнейшего поэта современной Абхазии Баграта Шинкубы, Б. Гургулиа — о путях развития абхазской поэмы. Я еще буду ссылаться на эти книги. Но сразу же хочу сказать, что, несмотря на те или иные недостатки, перед нами образцы серьезной литературной мысли. Я уже не говорю о том, что в названных книгах, по слову поэта, «дышат почва и судьба», чего очень не хватает многим книгам о литературе, издаваемым в Москве.

Судьба абхазского народа... Лишь прикоснешься к ней, и она уже захватывает воображение.

У Баграта Шинкубы есть стихи «На скале» — о деревце, растущем на открытой всем грозам, ветрам и снеговым обвалам скале, куда, можно подумать, занес его семя горный орел. Как же смогло оно удер-

жаться? Деревце срослось со скалой не только корнями — самим своим сердцем, так заканчивает стихи поэт.

Я не знаю, думал ли непосредственно Баграт Шинкуба о судьбе своего народа, когда писал эти строки, но, так или иначе, она ярко отразилась в них.

В незапамятные времена семя абхазского народа укоренилось на прибрежных отрогах Кавказского хребта, открытых всем ветрам с Черного моря и с Колхидской низменности.

И не было буквально ни одной крупной военной державы в Южной Европе и Передней Азии, которая не польстилась бы на эту небольшую благодатную страну. Завоеватели сменяли друг друга, жадно выхватывая добычу у ослабевшего соперника. Господство Греции (V—I вв. до н. э.), Рима (I—III вв. н. э.), Персии (IV—VI вв.), Византии (VI—VIII вв.) — такова первая половина достоверной истории Абхазии. С VIII по XI век — короткий период самостоятельного бытия, а в XI—XII веках — совместное развитие с Грузией в период ее великого расцвета [1]. Затем в XIII—XV веках иго монголов и Тамерлана, не говоря уже о нашествиях сельджуков, генуэзцев и арабов. На рубеже XV—XVI веков — опять краткое самостоятельное существование, а с середины XVI — трехвековое господство Турции. В исключительно сложных условиях борьбы между Турцией и Россией за обладание Абхазией совершилась тяжелейшая национальная трагедия — махаджирство, уход приблизительно двух третей абхазского народа за море, в Турцию и арабские страны.

Такова поразительная история народа. Добро бы речь шла об одном многовековом завоевании. Нет, более десятка держав прибирали к рукам Абхазию на столетие или на два, на три. Это означало новые и новые мощные воздействия чужого и каждый раз иного образа жизни, культуры, языка.

Было бы нелепо отрицать, что многие воздействия имели безусловно положительное и плодотворное значение. Но сейчас речь идет о другом — об изумительной крепости народа, который, пройдя через такую историю, полностью сохранил национальную целостность, свои обычаи, свою нравственную основу с ее самобытным и глубоким понятием о чести («Аламыс»), свою неповторимую народную культуру и язык, а в наше время, в новых социальных условиях, сумел в предельно короткий срок создать самобытную литературу.

Стойкость народа ярко выразилась, в частности, в том, что даже махаджиры, столетие назад покинувшие Абхазию, в большинстве своем остались ее верными сынами.

Еще в 1920 году один из зачинателей абхазской литературы, Самсон Чанба, написал пьесу «Махаджиры», где есть монолог, глубоко волнующий любого абхаза:

«Родина-мать! Прости нас! Не по своей вине мы оставляем тебя, родимую землю, в которой погребены наши предки. Нет! Мы уносим лишь свои кости, а душа наша остается здесь. Ее не оторвать от земли. Она будет жить в каждой веточке, в каждой травинке, в каждой горсти земли...»

Эти слова верны и поныне. Трагедия махаджиров и сейчас отзывается острой болью в сердце каждого абхаза. И хочется верить, что история в будущем еще разрешит ее... [1]

Судьба абхазского народа не могла, конечно, не сказаться на его национальном характере.

Один из первых серьезных исследователей культуры абхазского народа, русский этнограф и филолог Петр Услар, который еще в 1862 году составил азбуку и грамматику абхазского языка (правда, не нашедшие практического применения), вывел из своих многолетних наблюдений следующее заключение: «В покоренном народе естественным образом, хотя бы даже и бессознательно, возникает опасение за сохранение своей индивидуальности. Утрата индивидуальности как для отдельного человека, так и для целого народа, равномерна смерти».

Но как сохранить индивидуальность народа? Всецело замкнуться в себе, отгородиться от всех других народов? Это невозможно. С одной стороны, завоеватели не позволят, все равно вмешаются в жизнь покоренных, а с другой, замкнутость в себе по-своему не менее опасна: она может привести к внутреннему опустошению. Любой народ обретает свое неповторимое лицо именно и только в общении с другими народами.

---

[1] Д. И. Гулиа определял этот период как «совместное творчество культуры в единении с грузинами» (Дмитрий Гулиа. История Абхазии. Тифлис. 1925. Т. I).

[1] Исследование этой трагедии дано, в частности, в трактате Г. А. Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия». Сухуми. 1975.

И абхазы не замыкались в себе. Напротив, исторические факты подтверждают мысль Дмитрия Гулиа о том, что «абхазы, как побережные жители, сообщавшиеся со многими заморскими культурными жителями... безусловно являлись распространителями культуры среди соседних жителей... Это началось, главным образом, с IV—V веков»... Достаточно упомянуть о том, что уже в начале IV века определенная часть абхазов восприняла христианство, а с начала VI века оно стало в Абхазии официальной религией.

Абхазы не только не «отгораживались», но всегда смотрели в лицо и завоевателям, и соседям. И их национальный характер не является плодом изоляции, замкнутого в себе бытия; как раз наоборот, он сформировался в сложнейших перипетиях истории народа и, в частности, в постоянных столкновениях и взаимодействиях с многочисленными пришельцами.

Вот хотя бы один весьма выразительный факт. В 1830-х годах в Абхазию пришли царские войска. Но один из первых абхазских этнографов, Соломон Званба, стал другом писателя-декабриста Александра Бестужева (Марлинского), а князь Михаил Чачба, отец видного абхазского деятеля культуры Георгия Чачбы (1846—1918), был близок с генералом Николаем Раевским, другом молодого Пушкина. И нет сомнения, что эти связи были очень полезны для развития абхазской культуры.

Давние и прочные связи соединяли Абхазию и с грузинской культурой. Достаточно напомнить, что Д. И. Гулиа создал современную абхазскую письменность в творческом содружестве с грузином К. Д. Мачавариани.

Так закладывались основы подлинного интернационализма абхазского народа, интернационализма, который ныне играет определяющую роль в жизни и культуре Абхазии.

Широкое общение с другими народами и неизменная верность себе, своей родной стихии органически сочетаются в судьбе и характере абхазов. Им всецело присущи типичные черты горцев — сдержанность, сосредоточенность в себе, душевная цельность, обостренное чувство достоинства и чести, черты, которые внешне, со стороны, могут показаться гордыней. Но в то же время им не менее свойственна подлинная открытость души, способность воспринять, понять и освоить далекое и чужое. Встречаясь с абхазами в жизни и в искусстве, отчетливо видишь, как их характеры оборачиваются то одной, то другой стороной. Это сочетание внешне противоречивых качеств с замечательной рельефностью воплотилось в личности Дмитрия Иосифовича Гулиа — человека, который, по воспоминаниям многих, напоминал по всей своей повадке гордого орла и в то же время в любой момент был готов открыть себя людям, вступить с ними в искренний и страстный диалог.

Но в этом великом абхазе концентрированно выразились черты, присущие в той или иной степени целому народу и всей его культуре.

Предельная сдержанность и полная открытость — это как бы два полюса национального характера абхазов. И своего рода напряжение между этими полюсами способно высвобождать огромную духовную энергию.

А это, в свою очередь, определяет то качество, которое, пожалуй, более всего поражает, когда вглядываешься в лучшие произведения абхазской литературы,— удивительную для такой молодой литературы *сложность* художественного мира.

Поначалу может даже показаться, что она нечто привнесенное, заимствованное из других, имеющих многовековую историю литератур. Но, всмотревшись внимательнее, понимаешь, что это органическая, самобытная сложность, которая естественно вытекает из самого характера народа.

В этом отношении поистине замечательно одно суждение Дмитрия Гулиа об абхазской драматургии, которое он высказал еще на заре ее развития. Он, как вспоминает Г. Гулиа, говорил о первых абхазских пьесах: «Они не очень утомляют зрителя психологизмом. Сложные характеры как бы чужды им... И вот я решил написать пьесу, которая, может быть, откроет некоторые стороны абхазского характера... Нужна нам тонкость, нужны люди такие, как они есть».

Сложность, тонкость, психологизм — вот что, по мнению Д. И. Гулиа, необходимо для открытия абхазского характера «как он есть». И это совершенно верно, это подтверждается наиболее значительными произведениями абхазской литературы. Да о чем тут и говорить, если в первых же стихотворениях Дмитрия Гулиа мы сталкиваемся со сложным и напряженным психологизмом.

Вот, скажем, фрагменты из его стихотворения 1911 года (к этому времени еще не вышло в свет ни одно произведение абхазской литературы!) «День своего рожденья люди чтят»:

...И мне рожденья день вновь встретить
удалось.
День понедельничный... Как будто добр
денек!
Застал меня в трудах. Немало дел
нашлось.
Того он и хотел. Иного ждать не мог.
Ведь жернова, хотя б в Каабу их
возьмешь,
Зерно дробят. Вот точно так и я...

Хоть горе не убьет, но все ж держусь
с трудом.
А день сегодняшний, он хмурится, ворчит,
Стремится припугнуть каким-то новым
днем —
Мол, этот день еще сильнее огорчит...

Спасибо, день! Я понимаю, день!
Грядущее страшит? Ты так сказал о нем?
Предупреждаешь? Что же, поучай!
Но все же и тебя спрошу я кой о чем
И — заклинаю — честно отвечай:
Ты, день сегодняшний, что для меня
принес?
От дней минувших что я получил?
Пусть бы тебе совсем прийти не удалось,
Пусть ливень бы тебя в пути остановил!
Все беспокойны вы, все тяжки для меня,
И день не хочется мне отличать от дня...

Перевод Леонида Мартынова

Только еще начали вырабатываться поэтический стиль и самые принципы абхазского стихосложения, но тут же сразу возникает в стихе сложный, полный драматизма смысл. Даже не верится, что это одно из первых творений рождающейся литературы.

Но как же могло получиться так, что юная литература сразу освоила ту сложную жизнь души, которая обычно осваивается на высших стадиях литературного развития, в ходе многовекового художественного опыта? Несомненно, очень большую роль сыграли тесные творческие связи абхазских писателей с русской литературой, достигшей ко времени становления литературы в Абхазии высочайшего расцвета. Интернациональное братство с русским народом неуклонно расширялось и укреплялось с каждым десятилетием. Но дело, конечно, не только в этом; воздействие другой литературы не порождает, но лишь помогает *выявлению* того, что есть уже в самом народе.

Нельзя обойти вопрос о традициях, о культурных плодах тысячелетней истории Абхазии. Нужно прямо сказать, что эти традиции только начинают по-настоящему изучать. Правда, уже многое сделано для освоения богатейшего наследия устного народного творчества абхазов. Среди целого ряда серьезных работ хочется выделить уже упоминавшуюся книгу В. Агрба «Абхазская поэзия и устное народное творчество», в которой много нового.

Но народное творчество и литература — это, как уже говорилось, принципиально разные стихии. В народных сказаниях и песнях свои художественные законы и свой стиль, которые нельзя автоматически перенести в литературу. Даже в том случае, если она разрабатывает народные мотивы.

Б. В. Шинкуба вспоминал о проблеме, которая встала перед ним в начале его творческого пути: «Продолжать писать стихи в стиле народных песен... не имело смысла. Требовалось найти нечто новое».

Что ж, значит, абхазская литература сложилась в XX веке все же «на пустом месте»? Нет, дело, на мой взгляд, обстоит далеко не так просто. Тысячелетняя история Абхазии в очень многих отношениях подготовила это рождение литературы.

Беспрерывные новые нашествия вновь и вновь сметали с лица земли материальные воплощения абхазской культуры. Так, например, в течение тысячелетия христианство было официальной религией Абхазии; как писал Д. И. Гулиа, в XI—XII веках абхазский берег «был покрыт городами и монастырями, а горы — замками и церквами». Но от всего этого богатства осталось не так уж много памятников, к тому же пока еще недостаточно изученных.

Материальные воплощения культуры не возникают просто так, как пустая оболочка, они всегда являются порождениями и, если угодно, формами богатой духовной жизни и потому всегда таят в себе смысл, который может и должен быть раскрыт.

Конечно, главное материальное воплощение культуры — это письменность. Многие и до сих пор считают, что абхазская письменность возникла лишь в наше время. Однако гипотеза одного из крупнейших эпиграфистов (исследователей памятников письменности) Г. Ф. Турчанинова[1] поставила под сомнение это устоявшееся представление.

Г. Ф. Турчанинов изучил целый ряд древнейших надписей на камне, металле, кера-

[1] Г. Ф. Турчанинов. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы. Л. Изд-во «Наука». 1971.

мике, обнаруженных в Абхазии или близлежащих районах. Эти надписи, относящиеся к XIII в. до н. э.— V в. н. э., свидетельствуют, как пишет ученый, о том, что абхазы «имели свое оригинальное письмо и пользовались им, по крайней мере, на протяжении более полутора тысячелетий на обширной территории от Майкопа до Сухума». Более того, самый характер надписей убеждает, что «письмо было массовым, общенародным явлением».

В заключение своего труда Г. Ф. Турчанинов говорит о еще более поразительных вещах. Поначалу он считал, что абхазы заимствовали свое древнее письмо у финикийцев (к финикийскому письму, как известно, восходит, в конечном счете, и наше, русское письмо). Однако в самое последнее время исследователь обнаружил, что существуют памятники абхазской письменности, которые созданы четыре с лишним тысячелетия назад! И Г. Ф. Турчанинов пришел к выводу, что не абхазы заимствовали письмо у финикийцев, а, напротив, древнейшее абхазское письмо «явилось активным двигателем и соучастником в создании финикийцами их линейного письма».

Наиболее поздний по времени из известных пока памятников древнеабхазской письменности относится к V в. н. э. Но даже если более поздние памятники не будут обнаружены, трудно поверить в то, что письменность неожиданно прекратила свое существование — должна была быть какая-то очень серьезная причина для этого.

Трудно, например, поверить, что в VIII—XI веках, в период самостоятельного развития и расцвета абхазского государства, оно не нуждалось в письменности. Трудно поверить и в то, что христианское богослужение (а христианство было официальной религией в Абхазии с VI по XVII век, и все эти столетия существовала особая, самостоятельная абхазская церковь во главе с католикосом Абхазии) велось на чужом, непонятном языке. Если же оно велось на абхазском, христианские памятники должны были как-то фиксироваться письменно.

Древняя абхазская письменность погибла, очевидно, только в XVI—XVII веках, во время турецкого завоевания. Насаждая ислам, турки, без сомнения, последовательно уничтожали письменные памятники, поскольку многие из них были связаны с христианством. Раз они смогли позднее увести в Турцию две трети абхазского народа — они тем более могли уничтожить абхазскую письменность...

Но кто знает, может быть, иные из уцелевших памятников XVI—XVII веков еще будут обнаружены? Тогда окажется, что письменность отсутствовала в Абхазии только каких-нибудь полтора—два столетия (турки установили полное господство над Абхазией лишь к концу XVII века), а затем возродилась в новой форме. А если верны последние выводы Г. Ф. Турчанинова, окажется, что эта новая письменность — на основе русского алфавита — на самом-то деле восходит к древнейшей Абхазии! Пройдя через Финикию, Грецию, Болгарию и Россию, она вернулась в преобразованном виде к своим первоначальным творцам... Это ярчайшее свидетельство того, что народы творят культуру только совместно.

Итак, я полагаю, что Абхазия почти на всем протяжении истории имела свою письменность, причем древнейшую. Да и нелегко поверить, что такой высокоразвитый язык, как абхазский, сложился вне каких-либо форм письменности.

Крупнейший знаток кавказских языков, академик Н. Я. Марр еще в 1916 году утверждал, что в Абхазии «мы находим, очевидно, *давно сложившийся* общий во многих отношениях *литературный* язык (курсив мой.— *В. К.*)... Абхазский язык,— продолжает Н. Я. Марр,— лингвистически стоит на одной из самых высоких ступеней развития человеческой речи». После открытий Г. Ф. Турчанинова этот тезис не может удивить — ведь речь идет о языке, на котором писали уже четыре с лишним тысячелетия назад!

Тезис Н. Я. Марра по-своему, в образно-эмоциональной форме подтверждает относящееся еще к 1913 году рассуждение К. Д. Мачавариани, грузина, прекрасно знавшего абхазский язык и помогавшего Д. И. Гулиа в создании новой абхазской письменности. «Он (абхазский язык.— *В. К.*) одинаково передает не только торжественный тон возвышенного пафоса, но и ласкает слух самыми нежными выражениями... В нем отражаются, точно в зеркале, неуловимые движения души, туманные впечатления окружающего нас мира, ускользающие обыкновенно от слова, знака и красок»...

В свете этого вполне ясно, какую прочную культурную почву, какое накопленное веками сокровище имел абхазский народ ко времени возникновения литературы. «Дав-

но сложившийся литературный язык», стоящий «на одной из самых высоких ступеней развития человеческой речи», язык, способный отражать и «неуловимые движения души» и «туманные впечатления мира»,— вот что прежде всего дало возможность Д. И. Гулиа и его последователям, минуя все «предварительные» стадии, создавать произведения, отмеченные печатью сложного психологизма, схватывающие тончайшие черты национального характера и его индивидуальных носителей.

Повторяю: была ли или не была в средневековой Абхазии письменность, обеспечивающая формирование подлинного литературного языка, но так или иначе за тысячелетнюю историю был создан богатый и сложный язык, способный воплотить и голос народа, и голос личности.

В этой связи нельзя не обратить внимания на сам характер становления абхазских писателей. В подавляющем своем большинстве они выходцы из простых крестьянских семей. Они вырастали в глухих селениях, но только лишь овладев письменностью, начинали творить.

Уже те, кто вступал в литературу в двадцатых годах — то есть через 10—15 лет после выхода первой книги Д. И. Гулиа,— стали писателями в юношеском возрасте, не успев еще получить сколько-нибудь широкого образования.

Так, например, И. Когония, Л. Куцниа и М. Хашба начали публиковать стихи в 16 лет, а О. Демердж-ипа — даже с 15 лет! Конечно, их юношеские вещи были несовершенны. И все же нельзя не видеть, что существовала, значит, некая врожденная культура, которая давала возможность этим детям неграмотных, даже ничего не знавших о письменности крестьян столь стремительно становиться поэтами в стране, где еще, в сущности, не было литературы...

Мне уже довелось говорить в печати об очень распространенном, но глубоко ошибочном представлении, согласно которому настоящая культура может сложиться и развиваться лишь в каких-либо отделенных от человека творениях[1]. На самом деле подлинная духовная (философская, нравственная, эстетическая, даже «научная») культура может реализоваться и непосредственно в поведении, обычаях и живой речи людей.

Эта неотчужденная форма бытия и развития культуры была в Абхазии, по сути дела, необходимостью, ибо все новые и новые пришельцы уничтожали ранее созданные вещественные воплощения культуры.

Правда, в такой живой, текучей форме бытия культуры очень трудно запечатлеть личностные, индивидуальные ценности. Но здесь важно обратить внимание на характерное для Абхазии своеобразное соотношение личности и народа. Не подлежит сомнению, что развитое личностное начало сложилось в Абхазии довольно рано — уже хотя бы в силу сложнейших исторических обстоятельств. Во всяком случае, это личностное начало достаточно отчетливо выявляется в период борьбы между Турцией и Россией за Абхазию, борьбы, начавшейся на рубеже XVIII—XIX веков. В судьбах Михаила Чачбы, Самсона Званбы и других деятелей начала XIX века, несомненно, видна свобода выбора; очень ярко запечатлелось личное начало в поэзии Георгия Чачбы и Жана Ачбы (вторая половина XIX века). Совершенно ясно выступают личные решения и трагедия личности в истории махаджирства (достаточно напомнить в этой связи судьбу отца Дмитрия Гулиа).

Но вместе с тем и тогда, и позднее даже высоко развитая личность нераздельно связана с народом и, в сущности, не испытывает какого-либо «давления» всеобщих начал и норм. Это единство личности и народа даже поражает стороннего наблюдателя.

«Большое впечатление на постороннего,— писала американский антрополог Сула Бенет в одной из своих работ об Абхазии,— производит высокая степень общественного начала, чувство группового тождества, которые дают каждой личности непоколебимую уверенность в собственной безопасности, завтрашнем дне и преемственности поколений, что позволяет абхазам как народу переходить к новым условиям жизни, не теряя своей самобытности. Это чувство преемственности как в личном, так и в национальном плане и является тем, что антропологи называют пространственно-временной интеграцией...

Временная интеграция абхазов находит выражение в их общей преемственности, в отсутствии ограничивающих существование факторов, вроде... «проблемы отцов и детей», «отчуждения личности»...

С самого начала нет никакого разрыва между ожиданиями и последующим опы-

[1] См. мою статью «Поэзия и жизнь» в кн. «Жить идеями и страстями времени». Сб. статей. Сост. А. Ланщиков. М. Изд-во «Молодая гвардия». 1970.

том. Абхазы ожидают долгой и полезной жизни и обоснованно возлагают надежды на пожилой возраст: там, где высоко ценится преемственность в традициях, старики необходимы для передачи этих традиций».

Эти верные наблюдения уместно подтвердить словами из народной сказки «Мудрая невестка», изданной в свое время видным деятелем абхазской культуры Х. С. Бгажбой. Странник приходит в селение и, увидев похоронную процессию, спрашивает мальчика о покойном: «Он умер совсем или не совсем?» Мальчик недоумевает, но старшая сестра говорит ему: «Ну и глуп же ты!.. Гостю хотелось знать: остались ли у покойника наследники».

Это ощущение живой и личной преемственности — неотъемлемая часть абхазского мироощущения. Но вызвано оно вовсе не абстрактной «интеграцией», как полагает Сула Бенет, а конкретными историческими судьбами народа, обусловившими его особенное единство, которому внутренне причастна личность.

Я отнюдь не хочу сказать, что в Абхазии не было классовой борьбы и угнетения. Напротив, они выражались подчас в самых жестоких формах: так, например, князья сплошь и рядом безнаказанно грабили (буквально грабили) крестьян с помощью своих подручных, отнимали лошадей, скот, одежду, продовольствие. Подобные сцены изображены, кстати сказать, в целом ряде литературных произведений.

Тем не менее сама история Абхазии властно диктовала необходимость единства, без которого вся нация рисковала в любой момент исчезнуть. Сошлюсь на уже упоминавшуюся книгу Владимира Агрбы, в которой он, в частности, показывает, что князь Георгий Чачба — писатель и деятель культуры — последовательно выступал как защитник народных интересов, несмотря на все свои «феодальные предрассудки».

Уместно привести здесь очень выразительный эпизод из воспоминаний Константина Паустовского, который побывал в Абхазии в первые годы советской власти и еще застал в живых последнего князя из рода Чачба.

«Когда Председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба проезжал по Сухуму в единственном в городе экипаже и встречал шагавшего по пыли Шервашидзе (по-абхазски: Чачба.— *В. К.*), то, останавливая экипаж, выходил и... целовал старика в плечо.

Такова была сила... традиций. Даже Лакоба был вынужден с ними считаться».

Эта сцена обнажает все глубокое своеобразие Абхазии, ибо где еще тогда было возможно что-либо подобное. Именно в этих особенных условиях сложилась та неповторимая культура и тот язык, которые подготовили стремительное становление абхазской литературы. Георгий Чачба писал, что абхазы «со всяким человеком, независимо от его общественного положения, говорят одинаковым языком, как с равным с собой»...

И этот единый язык народа, который Н. Я. Марр считал «давно сложившимся литературным языком», был не прост, а исключительно сложен и богат. В нем и запечатлелось с наибольшей очевидностью тысячелетнее развитие духовной жизни нации. Этот язык, в лоно которого, как свидетельствует статистика, ныне возвратились даже те, кто от него на время отстали, представляет собою наращенную столетиями почву современной абхазской литературы и культуры в целом. В нем, в этом языке, живет тысячелетняя судьба народа и создавшийся в этой судьбе неповторимый и сложный национальный характер. Уместно привести один факт, ярко подтверждающий характерное для абхазского народа глубоко сознательное отношение к слову. Георгий Гулиа беседовал со старым крестьянином из села Тамш Г. Барганджиа. Тот вспоминал, как еще в 1905 году Д. И. Гулиа говорил о революционных событиях с крестьянами, которые не только воспринимали мысли, но и восхищались точностью и красотой самой его речи. Г. Барганджиа вспомнил, в частности, «что старики удивлялись старинным выражениям — прекрасным и точно передающим смысл».

Такое языковое самосознание типично для абхазов. О том, как высоко ценили абхазы слово, хорошо говорит абхазская пословица, взятая Дмитрием Гулиа в качестве эпиграфа к его первой книге:

Лошадь падет — поле останется.
Человек умрет — слово останется.

Разумеется, невозможно в краткой статье дать конкретную картину современной абхазской литературы, да я и не ставлю перед собой такой задачи... Хотелось бы, конечно, поговорить о творчестве Баграта Васильевича Шинкубы, который — это для меня несомненно — является одним из крупнейших современных поэтов нашей страны.

Его проникновенная лирика давно стоит в моем сознании в одном ряду с лирикой таких поэтов, как Ираклий Абашидзе, Аркадий Кулешов, Кайсын Кулиев, Александр Твардовский. Речь идет, разумеется, не о сходстве — все эти поэты так же национально и индивидуально неповторимы, как и сам Баграт Шинкуба,— а о силе и красоте поэтического голоса.

Серьезного разговора заслуживают, конечно, и эпические полотна Баграта Шинкубы, Ивана Тарбы, и в стихах, и в прозе. Но для этого необходимо специальное и емкое исследование... Не могу не сослаться на изданную не так давно на русском языке содержательную монографию Владимира Цвинариа. Эта книга, без сомнения, помогает войти в художественный мир Баграта Шинкубы. Нужно прямо сказать, что его творчество не получило за пределами Абхазии той степени известности и признания, которой оно, безусловно, заслуживает. Во многом это объясняется тем, что стихи Баграта Шинкубы, стихи очень сложные, обладающие тончайшим лирическим строем, не нашли еще адекватного воплощения в переводах, как нашли его, скажем, стихи Кайсына Кулиева или Ираклия Абашидзе.

В переводах сплошь и рядом исчезают характерные черты поэзии Баграта Шинкубы, о которых верно говорится в книге В. Цвинариа: «С именем Б. Шинкубы в абхазскую поэзию стали входить сдержанность и достоверность чувства... лирическая теплота... чуткость к малым и большим явлениям... многозначность образа».

В лучших стихах Б. Шинкубы воплотилось безупречное чувство художественной меры; в переводах же его стихи нередко либо «засушиваются», становятся схематичными, даже дидактическими, либо, напротив, «разжижаются», делаются тягучим набором слов.

Наиболее удачны, пожалуй, переводы, сделанные Вл. Державиным и А. Межировым. Тонкость и глубина поэтического мира Баграта Шинкубы наглядно раскрывается в его стихах о «муках творчества».

Все ненасытней я становлюсь,
Мучаюсь молча — слов не хватает.
Белкой в орешнике слово мелькает,
Скрылось... и я ни с чем остаюсь.

С ночи снизу, тружусь неустанно,
Слажу строфу к наступленью дня.
Слово пернатое глазом фазана,
Словно из леса, глядит на меня.

Вот я тянусь за ним осторожно,
Но не поймал его, не суждено.
В дыме табачном, крикнув тревожно,
Вспыхнув жар-птицей, скрылось оно.

...Вдруг на порог другое вступило
В резком дыхании вихревом,
Все перепутало, переместило,
Что собирал я и строил с трудом.

Строки распались, слова разбежались.
Эти вприпляску пошли кувырком.
Те, словно фокусники, закачались
На этажерке и под потолком.

...Вихрем летят в своевольных стихиях,
И от былого труда — ни следа...
Речь моя, песнь моя, ты примири их,
Соедини и сроднн навсегда!

Перевод Вл. Державина

Да, в лирике Баграта Шинкубы широкое, вольное «вихревое дыхание» сочетается с совершенством поэтического стиля, в котором слова «примирены» и спаяны в родственном единстве. Поэт идет по пути наибольшего сопротивления, не упрощая и не выпрямляя «своевольных стихий» жизни, он в то же время добивается классической ясности и гармонии.

Рядом с Б. В. Шинкубой в современной абхазской литературе работает целый ряд поэтов, прозаиков, драматургов разных поколений. Еще в 1920-х — начале 1930-х годов вступили в литературу Д. Х. Дарсалиа, И. Г. Папаскири, М. Л. Хашба, Ш. Л. Цвижба, П. С. Чкадуа. Накануне Великой Отечественной войны начали свой литературный путь А. Н. Джонуа, Ч. М. Джонуа, И. К. Тарба, а в первые послевоенные годы — Г. К. Гублиа, К. Ш. Ломиа и другие.

Каждый из них внес свой вклад в развитие родной литературы, и, конечно, в рамках журнальной статьи невозможно говорить о всей их совместной работе. Тем более немыслимо охарактеризовать деятельность писателей, вошедших в абхазскую литературу за последние двадцать лет, ведь пришлось бы вести речь о *десятках* новых имен.

Я скажу здесь только о некоторых современных абхазских художниках. Тех, в творчестве которых, на мой взгляд, ярко воплотились основные тенденции *сегодняшнего* развития абхазской литературы.

В новейших «Очерках истории абхазской литературы» (Сухуми. 1974) справедливо сказано: «Наиболее значительные достижения в абхазской прозе последних 10—15 лет связаны с именем А. Гогуа».

Алексей Гогуа родился в 1932 году в селении Гуп в крестьянской семье. Вначале писал стихи (печатается с 1948), но вскоре целиком отдался прозе. Первая его книга вышла в 1957 году, за ней последовал це-

лый ряд сборников рассказов, повестей, романов. Две книги Алексея Гогуа изданы на русском языке в Москве.

В творчестве Алексея Гогуа осуществлен тот замечательный завет Д. И. Гулиа, о котором говорилось выше: для раскрытия абхазского характера необходимы углубленный психологизм, сложность и тонкость стиля. Алексей Гогуа сумел слить воедино стилевые искания новейшей мировой прозы и самобытные традиции абхазской народной культуры.

Проза А. Гогуа многообразна. Но, как мне представляется, можно говорить о его творчестве в целом на материале двух его зрелых повестей — «Ягненок» и «Вкус воды», ибо в них так или иначе выразились основные мотивы прозы А. Гогуа и наиболее характерные особенности его стиля.

В обеих повестях действие сжато в тесных временных границах: в «Ягненке» изображено то, что произошло от утра до следующего утра, в повести «Вкус воды» все совершается за один день — с утра до вечера. Но для героев обеих повестей эти краткие отрезки времени полны напряженного и острого смысла.

Мальчик, герой «Ягненка», расстается с детством; старик, герой «Вкуса воды», обдумывает и оценивает свою жизнь на пороге смерти. Поэтому даже внешне совсем незначительные события и детали повседневного быта приобретают громадное значение.

В «Ягненке» действие к тому же происходит во время войны, грозный отсвет которой лежит на всем — от социально-бытовых отношений до детских игр. И детство героя завершается раньше, чем следовало бы, именно потому, что идет великая война.

Скупыми, но очень точными и потому емкими образами писатель воссоздал жизнь абхазского селения в годы войны, жизнь трудную, сложную, противоречивую.

По улицам селения проезжают всадники из истребительного батальона; во дворах приносят в жертву белых ягнят ради спасения мужа или сына от вражеских пуль; вчерашние дети ходят за плугом; озлобленные старухи пророчат всеобщую гибель...

Кончается детство героя повести. Отец — на фронте, мать — с раннего утра до позднего вечера на работе. Мальчик один; у него остался только белый ягненок — как бы опора и символ его ускользающего детства: «Прикоснешься ладонью или щекой к его шелковистой шерсти и весь день чувствуешь его теплую нежность, весь день живет в тебе это ощущение»[1].

Но вот мать вынуждена отдать и белого ягненка. Проснувшись утром, мальчик не находит его — с этого и начинается повесть.

«Мальчик обегал дом и двор; везде пусто. Это удивительно — неужели такой огромный двор заполнял крохотный ягненок?»

Изображая перелом в сознании и самом бытии мальчика, писатель дает глубоко реалистическую мотивировку: именно потеря ягненка является тем последним толчком, который преображает детское восприятие мира. Именно теперь мальчик столкнулся с войной сам, лицом к лицу.

«Он вдруг задался вопросом, который раньше не интересовал его: а что с ним будет завтра? Что он будет делать завтра? Обычно он и не думал об этом: подобно спящему человеку, который знает, что видит сон, он догадывался, что будет завтра... Но сейчас вопрос навис огромной глыбой; мальчик даже остановился. Прежде он не боялся «завтра», он знал, что все пойдет своим чередом. Конечно, он задумался, когда ушел на войну отец, когда забрали коня. Но все это было по-другому. От него не зависело, вернутся ли они, уцелеют или нет... Теперь иное дело. Теперь ему самому надо отвечать, самому решать...»

И на следующее утро приходит внешне неожиданное (если учесть, что речь идет только о потере ягненка), но внутренне, в глубинном течении повести совершенно закономерное, художественно обоснованное решение: вчерашний ребенок становится пахарем.

«Он не раз уже ходил за плугом, но знал, что в любую минуту может бросить, может отдать плуг другому». Теперь отдать некому — потому он и не мог так долго решиться взять все на себя...

И вот «под этим огромным небом он с усталыми волами царапает землю, как царапают щеку женщины, получившие похоронку, но... это земля отца, это его земля, она держит его на своих ладонях и ведет его.

В один конец...
Обратно...
И другого пути нет.

Вот он и нашел ответ на мучивший его со вчерашнего дня вопрос».

Так кончается повесть Алексея Гогуа, написанная в той своеобразной, органически сочетающей сдержанность и одновремен-

[1] Перевод здесь и далее автора статьи.

но открытость манере, которая присуща лучшим явлениям абхазской литературы. Столь же органично сливаются в повести древнее, извечное и современное, непосредственно природное и духовное; эти начала, которые подчас выступают в литературе раздельно, а иногда даже как враждующие, здесь никак не противостоят друг другу.

Те же черты присущи другой повести А. Гогуа — «Вкус воды». Это значительно более многогранное (в частности, и более объемное) произведение, чем «Ягненок», уже хотя бы потому, что герой здесь не вступает в жизнь, а подводит ее итоги, перебирая основные, решающие моменты своей судьбы.

И все же между двумя повестями есть точки соприкосновения. В уже упоминавшейся статье американского антрополога Сулы Бенет содержится верное наблюдение, схватывающее характерную особенность абхазской народной культуры: «Для детей и взрослых не существует каких-то «раздельных фактов жизни». То, что прививается детям, — это ценности, которыми руководствуются взрослые».

Старик из повести «Вкус воды» исходит в общем и целом из тех же представлений о ценностях, что и мальчик из «Ягненка», хотя у него, прожившего долгий век, эти представления, конечно, и более развиты, и более определенны.

«Больше всего старик ненавидел тех, кто уклонялся от работы под любыми предлогами и всю свою жизнь посвящал поискам причин для безделья». Но это простое нравственное требование еще не есть вся правда. «Старик никогда не одобрял и тех, кто днем и ночью копался в земле, ничего, кроме нее, не видел и не хотел видеть, тех, для кого труд земледельца стал уже болезнью. Он считал, что такая страсть — один из способов испортить жизнь, загубить истинное назначение человека. Труд есть труд, особенно для земледельца, но нельзя превращать его в болезнь...»

Этот смысл по-своему воплотился и в «Ягненке»: мальчик берется за плуг лишь тогда, когда осознает свою личную ответственность перед миром, когда он понимает, что им движет не слепая необходимость, а свободная человеческая воля, и поэтому самый тяжкий труд не может ничего у него отнять, не может подавить его разум и душу.

Герой «Вкуса воды», Шханыква, стар, болен, одинок. Единственный близкий человек, сын Сунар, далеко, в городе, а старик, скованный болью, сидит в своем дворе и мучительно вглядывается в прошлое и настоящее. Он зло и беспощадно, подчас даже несправедливо судит окружающих его людей. Но еще более жестоко казнит он самого себя.

Он вспоминает из своей прошедшей жизни только дурные поступки, только слабости и падения. Злодейское убийство серны в юности; измена жене; малодушное молчание в годы войны, когда прекрасного человека, погибшего во время схватки с бандитами, обвинили в сотрудничестве с ними...

Не щадя себя, Шханыква, как скальпелем, вскрывает все до конца, идя глубже и глубже. Вот он будто снова стоит над телом сброшенной им когда-то со скалы серны: «Он... растерялся и почему-то нагнулся и потянул сосок серны, еще и еще раз — оттуда заструилось бурое молоко, бурое от крови...»

И эта нравственная казнь приносит своего рода очищение. Страшнее всего быть самоудовлетворенным, самодовольным. И характерно, что писатель как бы отдает своему герою одну из самых основных или, пожалуй, даже основную национальную ценность — язык.

Шханыква не может жить без слова: «Ему есть не давай, но дай слово; хорошее слово надолго оставляет приятный привкус».

«У каждого слова,— размышляет герой,— как у воды, как у воздуха, есть свой вкус, особенный, совсем особенный. Одно бывает горькое, сладкое, холодное — леденящее зубы, горячее — обжигающее горло... Не почувствовав вкуса слова, его не произнесешь».

Шханыква думает о своем маленьком внуке, который не говорит по-абхазски: «Мальчику скоро четыре. Он еще не успел ощутить вкус родного языка, а они уже отняли у него язык, как отнимают ребенка от груди, лишая его материнского молока, и суют ему в рот пустышку». И далее: «Говорят, что человек изучает язык, но это неверно. Язык должен быть в самой крови, он должен горло освежать, как вода из родника, он должен быть единственным и неповторимым, как душа».

Мы много говорили об исключительном значении языка в жизни и культуре абхазского народа; в повести А. Гогуа это выразилось наглядно и осязаемо.

Важную роль призван играть в повести

образ сына героя — Сунара, молодого ученого-филолога.

Однако этот образ, на мой взгляд, не вполне удался. Сунар наделен прекрасными и верными мыслями, которые придают повести широкую социально-историческую перспективу. Но все же он предстает как резонер, он не укоренен в основном движении повести, в мире своего отца. Мир мысли и мир жизни оторваны друг от друга. Почему бы не связать мысль Сунара со сказаниями, которые так любит его отец (в повести о них только упоминается), с тем живым и глубоким отношением к слову, которое присуще отцу? Это было бы, по-моему, вполне естественно.

Но нельзя не отметить в заключение, что в размышлениях Сунара все время возникает та тема традиций и их сегодняшнего развития, которая представляется мне столь существенной для абхазской культуры. Сунар думает о гении народа, который «из глубины веков донес живым свой дух, свой эпос, свои неповторимые песни, свою жизнеспособность». Однако все это не может жить само по себе. «Все ценное, что оставлено нам предками, словно живое существо; если не растить, не обновлять его — оно чахнет и умирает».

Именно оживление, наращивание и обновление традиции лежит в основе творчества Алексея Гогуа.

То же можно сказать и о творчестве поэта Мушни Ласуриа. Он пишет, главным образом, лаконичные лирические стихотворения. Но в них есть духовная емкость и широкие горизонты жизни.

Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селении Кутол в семье крестьянина. Писать стихи начал еще в отрочестве; печатается с 1955 года. Книга его избранных стихотворений издана на русском языке в Москве.

Лучшие произведения М. Ласуриа проникнуты сложным и драматичным психологизмом, который, как уже не раз отмечалось, очень характерен для абхазской литературы. Самую природу Кавказа поэт осознает и раскрывает в этом особенном свете. Таковы, например, превосходные стихи М. Ласуриа о смерти камня:

Вы видели, как умирает камень?
В горах однажды, расшатав руками,
Большой валун я вытолкнул с обрыва.
Не знаю почему... Сперва лениво
Перевернулся он, как бы ворча,
Потом пошел по склону, грохоча,
Быстрей, быстрей! Нелепым, грузным
скоком,
То шлепаясь плашмя, то зарываясь
боком...
Он мчался с ревом окровавленного зверя,
Уже не в жизнь, в одно возмездье веря,
Крошилось тело — сыпалось, кололось,
И наконец остался только голос!

И тот замолк... Ни грохота, ни стона,
Зарылся и затих в кустах рододендрона.
Я дальше шел и озирался поминутно
На глыбы, нависающие смутно.

Перевод Ф. Искандера

В лирике М. Ласуриа живет тысячелетняя история Абхазии — живет не в навязчивых реминисценциях и перечислениях, а как внутренняя сила, как глубинное течение, которое вырывается наружу, лишь когда это необходимо. И тогда в стихах возникают образы нартов и обломки Великой абхазской стены, нашествие Чингис-хана и трагедия махаджиров. Столь же органически входят в стихи М. Ласуриа широчайшие, всемирные темы — образы Прометея и Дон Кихота, притча о блудном сыне и гомеровский эпос.

В одном из наиболее значительных стихотворений М. Ласуриа «Прощание» речь идет о древнем обычае, согласно которому абхазские мужчины не оплакивают своих умерших жен:

...Ее схоронят через день,
Зароют в землю послезавтра.
Толпа горюющих людей
Пойдет за нею со слезами.

И он пойдет среди других...
Но не должны увидеть люди
Запретных слез его мужских...
Не будет плакать он, не будет!

Но не сдержать ему тоски
Теперь, когда народ оставил.
Прикосновением руки
Он волосы ее поправил.

...Никто не видел, не слыхал,
Как он тогда над нею замер,
Как он лицо ей согревал
Своими жаркими слезами.

Перевод А. Передреева

Так раскрывается в стихах истинный смысл древнего обычая, требующего не показного «мужественного» бесстрастия, а чистоты и полной неподдельности страдания. Национальная традиция, воплотившаяся в этом обычае (разумеется, не только в нем одном), имела, на мой взгляд, огромное значение в становлении творчества Мушни Ласуриа. Поэтому его стихам веришь до конца. Веришь, когда он говорит, обращаясь к родине: «Покуда ты есть, я — буду». Веришь его замечательному гимну жизни и борьбе:

Когда, подхваченный потоком,
Ты задыхаешься, хрипя,
И конь в борении жестоком
Внезапно смыт из-под тебя,

Подхвачен ледяною мутью,
Надейся, не спеши на дно.
Наляг плечом! Работай грудью!
На крик, на случай, на бревно
Надейся! Не спеши на дно.

Нельзя стихии на подмогу
Свое бессилие вручить,
Еще при жизни дать потоку
Себя, как труп, проволочить.

И если прорвой ледяною
Замкнулся смысл твоих путей,—
Ты до конца владел собою,
Был волен волею своей.

Перевод Ф. Искандера

В творчестве А. Гогуа и М. Ласурия и многих других воплотился тот подлинный интернационализм абхазской культуры, о котором уже шла речь. Их деятельность проникнута глубочайшим уважением к русской, грузинской и другим культурам нашей страны. И творческое взаимодействие с этими братскими культурами дает богатые плоды.

Уже говорилось о том, что за последние двадцать лет вместе с А. Гогуа и М. Ласурия в абхазскую литературу вошло немало молодых писателей. Назову хотя бы таких даровитых художников, как прозаик Джума Ахуба (родился в 1937 году) и поэт Николай Куцния (родился в 1938 году). Но я отнюдь не ставил перед собой цель дать общую картину литературы Абхазии. Я стремился выявить некоторые тенденции литературного развития, которые представляются мне существенными и плодотворными.

Д. И. Гулиа в свое время выражал уверенность в том, что абхазская литература может достичь «самого высокого уровня», и с негодованием отвергал умозаключения типа «малый народ может создать лишь малую литературу». Он указывал на пример литературы Исландии, которая дала миру одного из крупнейших современных писателей — Халдора Лакснесса.

Я мог бы напомнить, что число граждан Афинской республики, создавшей литературу, которая стала своего рода фундаментом всей европейской литературы, было примерно равно числу абхазов...

Конечно, времена изменились. Однако я полагаю — с моим мнением, конечно, можно спорить,— что ныне, в конце XX века, «малые» народы имеют свои весьма существенные преимущества с точки зрения возможностей культурного творчества. Деятель культуры «малого» народа яснее ощущает его интересы и стремления. Он способен узнать о своем народе «все», а не только увидеть отдельные его проявления. Он может сразу и непосредственно обрести то чувство громадной ответственности перед своим народом, без которого немыслимо подлинное творчество (напомню в этой связи эпиграф к данной статье). Все это ярко выражается в развитии современной абхазской литературы.

Закончу мыслью Мушни Ласурия:

Мал мой край, но родина — нет!
Не бывает родины малой...

Можно бы добавить, что не бывает и «малой» литературы, если она создается со всей полнотой творческой ответственности.